КАРЛ

Он – одинокий, он – старый, всеми забытый, никому не нужный писатель с плешивой макушкой и больным животом. Неужели он и вправду когда-то был счастлив? В каком-то призрачном, несуществующем прошлом, где никогда не бывало холодных ночей и тошных мечтаний о том, чтоб убить… В этом прошлом он – молодой, литератор, супруг, и ни мысли о смерти, ни намёка на её ледяной, неизбежный визит. Он был успешен, читаем, любим – в год по книжке, и так тридцать лет; он засыпал и просыпался с улыбкой и с женщиной – её звали Ларой, и он не знал других женщин, кроме неё. Она вдохновляла его на рассказы, повести, пьесы, а когда родился их сын, он засел за роман. Роман назывался банально и пафосно: «Исповедь», и, возможно, поэтому он провалился.

«Как же так! – мучился в бессонницах молодой литератор. – Вещь вроде как стоящая».

Критики его распекли, разбомбили, а один господин, коллега по перу, знакомый, не то прозаик, не то поэт, некто Ч., довольно крепко стоящий на своих литературных ногах, поругал его дерзко в письме.

«Прочитал на днях ваш романчик и, честно признаться, Антон Николаевич, разочаровался в вас не на шутку. Видимо, крупная проза вам не по зубам. Лучше и дальше всякие пьески выдумывайте, рассказики. Повести мне ваши, к слову, тоже не нравятся. Всё напыщенно как-то выходит у вас, ненатурально… Однако некоторые ещё ничего, неплохие. Вот, к примеру, та, где вы о сиротах пишете. А роман ваш дрянной, Антон Николаевич. Мне бы на вашем месте стыдно было такое в массы нести. История пошлая и сырая. Больше вам ничего не скажу. Боюсь, что если начну говорить всё, что думаю о вашей “Исповеди”, то и к утру не кончу. А у меня, знаете ли, режим. Кстати, что за название такое чудное – “Исповедь”? Уж не любитель ли вы духовных излияний Толстого?

Знаю, вы меня не послушаете, но я всё равно хотел бы вам посоветовать… Антон Николаевич, не пишите больше романов, не стоит. Вы эдак всех читателей своих распугаете, вы эдак щелкопёром рискуете сделаться. Сердечно прошу вас, Антон Николаевич, не гордитесь, прислушайтесь. Я хоть писатель и маленький, а всё же со вкусом, а некоторые говорят, что и с талантом.

Кланяюсь, Антон Николаевич. И желаю удачи.

Ч.»

После этого письма он ещё хуже спать стал, ещё мучительней; то было тёмное пятно в его писательской деятельности. Он даже бросил писать и ушёл с головой в домашнюю суету.

«Писатель из меня не вышел, так, может, хоть отец выйдет», – думал он и возился с подгузниками.

Через две недели ему надоело играться в папу, и он принялся обдумывать новую книжку. Он поклялся перед женой и Богом, что напишет такой роман, который наделает шуму, возбудит восторги и зависть, и помнить его будут и читать десятилетиями и веками.

Клятва не оказалась бесплодной. Второй роман его вышел в свет под названием «Полночь» и принёс автору и похвалу, и гонорары. Со всех сторон сыпались письма с комплиментами и благодарностями – ему писали читатели, критики, знакомые и друзья. Ч., правда, не написал ни слова.

Антон Николаевич продолжал писать книги и купаться в золотой, сладкой славе, но пришёл день, и кончилась слава – люди потеряли интерес к его сочинениям, а ему больше не о чем было писать. С ним приключилось то, что принято называть творческим кризисом. Антон Николаевич запил и покатился ко дну. Докатившись до дна, он стал алкоголиком. Жена боролась с его алкоголизмом самоотверженно, рьяно, но побороть не смогла. Она состарилась, заболела и умерла. И остался Антон Николаевич один-одинёшенек.

«Вот он – великий писатель… – сказал он своему отражению в запятнанном зеркале, – такой старый и пьяный… Тьфу!»

И он плюнул себе в лицо с таким омерзением, так чудовищно страстно, что ему тотчас же сделалось жутко и ещё противней, чем прежде. В тот день он разбил в доме все зеркала, чтоб не видеть в них свою кислую, испитую рожу.

И как же так жизнь могла испоганиться?

«Ах, Лара, если бы ты знала, как мне жаль… если бы ты только знала…»

Он пообещал надгробию Войцех Ларисы Андреевны, что прежде чем умертвить себя – бросит пить.

И вот сорок шесть дней без коньяка и без водки. Он шепчет хвастливо надгробию: «Бросил… теперь мне пора», – а сам себе думает: «Сказать сыну перед смертью “прощай” или так уйти, по-английски?»

И он решил, что лучше уйти по-английски. Незачем тревожить сына. Американцы – народ занятой.

«Лет двадцать не виделся с тобой, Николенька, – он вертел в костлявой неспокойной руке фотографию молодого мужчины, обнажившего в смелой улыбке белоснежные зубы. – И на похороны матери ты не приехал. Что ж, видно, некогда…»

Пора. Зачем жить? К чему это блеклое, унылое существование? Ни к чему. Сейчас он сядет, сочинит что-нибудь напоследок и уйдёт навсегда. Последняя история. Последний герой. Антон Николаевич задумал рассказ – на большее он уже не способен.

Со вздохом, кряхтя, уселся он за письменный стол и принялся думать. Как бы так ладно изобразить ему последнего в его жизни героя? Это должен быть юноша, непременно должен быть юноша, но злобный какой-нибудь, сорвиголова; мужчина, на худой конец, но обязательно молодой. И вот этот юноша… или мужчина… шагает по городу – улицы кругом солнечные, ароматные; красивые, довольные люди радуются дружелюбному маю, они улыбаются друг другу, смеются… Вот за тем столиком в пивном баре – крепкая мужская дружба, а на той лавочке в сквере – нежная, молодая любовь. Но как же он выглядит, этот последний герой? Нужно вкрутить в его физиономию что-нибудь гадкое, отталкивающее, какой-то изъян…

Трудно. Писать – это каторга. И как только ему удалось сочинить столько книжек? О чём он писал в них? О ком? Антон Николаевич вспомнить не мог. Всё это было так давно, в какой-то другой, лучшей жизни и будто не с ним. Столько лет прошло с тех пор, как он усаживался за свой письменный стол, лакированный, весь в царапинах, брал в руки чёрный, иногда тёмно-серый, свежеотточенный карандаш и, словно кубик сахара в кипящей воде, растворялся – в белой бумаге с бледными голубыми полосками. И тогда он писал, писал, писал…
И ничего больше не существовало вокруг – ни комнаты его, нежащейся в тёплых, вечерних лучах старого, ни верного торшера, ни любимой кошки, свернувшейся чёрно-белым комком на диване; и дивана не было, и его самого не было. Эх, золотые, утонувшие годы… Он был писателем. А теперь он никто. Существо. Комар без улыбки, дряхлый, в морщинах, сжимающий в руке карандаш, чтоб засеменить им по белой бумаге и бледным голубым полоскам и кончить свою мутную, ненужную жизнь.

Антон Николаевич вывел старательно первое тёмно-серое слово (карандаш ему тёмно-серый попался), склонился над ним, рассмотрел хорошенечко и с раздражением зачеркнул. Слово было «весна».

«Фу, ну и дрянь, ну и банальщина, – ругался Антон Николаевич. – А, впрочем, плевать. Какая, собственно, разница? Всё равно помирать. Всё равно это никто не увидит».

И он опять написал: «весна», но уже не старательно, уже как попало, с какой-то особенной, ему одному свойственной, небрежностью, с какими-то крючками и завитушками. И побежал карандаш по бумаге всё дальше, всё дальше, оставляя за собой следы безобразного, только ему понятного, почерка…

Весна. Молодой человек, его звали Карл, гулял по бульвару. Это был не парижский бульвар и даже не одесский бульвар; это был просто – бульвар. А город тот был безымянным, город не нуждался ни в каком особенном имени, каждый называл его как-то по-своему. Счастливые называли его мечтательно «Городом-счастьем», больные величали едким «Городом-хворью». Карл называл город «Убийцей».

– Это Город-убийца, – буркнул себе под нос Карл.

Мимо проезжал мальчонка на красном велосипеде. Он был одет в красный костюм и красную кепку. Локти и колени его были сбиты в свежую кровь.

– Вы что-то сказали, сэр? – мальчонка бросил крутить педали и повернул шею к Карлу. Тот посмотрел на мальчонку грозно, но безучастно.

– Вы что-то сказали, сэр? – мальчонка вновь запищал своим десятилетним, девичьим голоском. Карл отвернулся от него и отошёл к дереву. Мальчонка укатил прочь.

Это было красивое дерево, зелёное, пышное, похожее одновременно и на акацию, и на каштан. Карл решил постоять в его шевелящейся, круглой тени – он знал, что отчего-то устал…

«Пока он отдыхает под деревом, я расскажу, как он выглядит», – по-
думал Антон Николаевич.

Молодость Карла казалась обманчивой. Ему исполнилось на днях двадцать пять лет, но лицо его был так густо забито щетиной, что никто не дал бы этому лицу меньше сорока трёх. Такая щетина бывает только у сорокалетних…

«Стоп. Почему только у сорокалетних? – замер в растерянности тёмно-серый карандаш. – Ах, всё равно».

На лбу у Карла красовался глубокий, уродливый шрам, он начинался у правой брови и заканчивался почти у левого уха. Ещё в детстве его кто-то в шутку порезал ножом. С тех пор Карл боится ножей.

Волосы у него светлые; можно сказать, что Карл – блондин, но блондинистость его будто грязная и какая-то ненатуральная. Вообще, в его волосах торчит и жёлтый, и серый цвет, так что причёска у него неопределённая – известно только, что она состоит из тонких, длинных ниток и эти нитки ложатся на самые Карловы плечи. Чёлки нет. Глаза у Карла сине-зелёные, узкие, но он часто их широко открывает. Губы отсутствуют, их похоронила та самая густая щетина, но вообще они ярко-розовые, почти женские, но не пухлые. Скулы и щёки похоронены вместе с губами – о них можно сказать только то, что когда-то они были светло-коричневые, как у людей из Латинской Америки. Карл любил загорать на крышах. Нос его касался щетины, но поглощён ею не был, это был обычный, ничем не примечательный нос. Уши Карл носил маленькие, но слышали они хорошо. Роста он выше среднего, руки и ноги тощие, живот чуть упитанный, грудь –
вся в волосах. По этому поводу Карл комплексовал. Несмотря на то что он был злобным и наглым человеком, его всегда обижали шуточки, бросаемые недоброжелателями в сторону его волосатой груди. От этого Карл всегда застёгивал рубашки на все без исключения пуговицы и никогда не раздевался на пляже. Больше о внешности Карла ничего неизвестно…

«Ну ты и разошёлся, старик… Будто голую женщину описал. Во всех, кхм, подробностях. Ах, всё равно».

Карлу надоело стоять под деревом; его раздражал шелест листьев, к тому же он уже сполна отдохнул.

«Поплавать бы… жарко», – взмечталось вдруг Карлу.

И Карл двинулся в сторону пляжа.

«Сейчас освежусь, и за дело…»

У него было какое-то дело – он пока не знал, какое именно дело, но вскоре собирался узнать. А сейчас – плавать.

Бульвар давно кончился. Улица, которая несла Карла к морю, была худенькая, дома громоздились на ней крошечные совсем, но уютные. Позже Карл поймёт, что в домах этих нет ни капли уюта, потому как и домов никаких нет, ибо это не дома, а только одни раскрашенные фасады. Он наверняка сразу бы обо всём догадался, если б не женщина в короткой оранжевой юбке, вертящая пухлым задиком прямо у него под носом. Тут Карл понял, как сильно он любит женщин.

«Вот сделаю дело, и сразу в бордель – наслаждаться весной», – кольнула сердце игривая мысль.

Оранжевой юбке оказалось с ним по пути. Карл уселся удобно на своих крепких, двадцатипятилетних ногах и доверился им, как доверяются лучшим друзьям; ноги шли сами, а он упивался женщиной с пухлым задиком. Он сверлил и сверлил её своими узкими, широко распахнутыми глазами, эту юбчонку, и ему вдруг почудилось, что он непременно умрёт, если сейчас же, сию же секунду, не задерёт её – чем выше, тем лучше, и не рассмотрит хорошенечко – что же там скрыто под ней.

Карл ускорил шаг и приблизился вплотную к женщине, с которой прямо на улице прелюбодействовал в сердце своём. Он протянул руку и тотчас же почувствовал зажатую в пальцах материю – тонкую и оранжевую. Карл задрал эту юбку и ахнул: на женщине не было трусиков; на него уставились мягко два белоснежных, сладострастных шарика… эх, шлёпнуть бы их, ущипнуть… Карл вернул юбку на место и восторженно заскулил. Женщина обернулась, возмущённая, резвая, с нахмуренными бровями и румянцем на круглых щеках, и залепила Карлу пощёчину. Карл перестал скулить и залепил ей пощёчину в ответ. Женщина издала какой-то звук, похожий на стон, и зарыдала.

Подул неожиданно ветер. Оранжевая юбка вновь задралась. К Карлу вернулся прежний восторг. Женщина стыдливо попятилась, замерла на секунду, на две и убежала туда, откуда только что пришёл Карл. Карл кинулся в обратную сторону – к пляжу. Там на женщин он не смотрел, он только нырял и плавал в прохладной волнистой воде.

Возвращался он с пляжа с закрытыми глазами, чтоб не обжигать развратными талиями своё дряблое сердце. Да, сердце у Карла было дряблое. Кстати. Больное. Порок от рождения. Карл редко думал об этом.

Он собирался выпить в кафе чего-нибудь прохладительного, пожевать солёных и вредных закусок, а затем выяснить – что за дело сегодня ему уготовлено.

Карл зашёл в первое попавшееся кафе возле пляжа, уселся под зонтиком на деревянный, но вполне удобный стул, положил руки на горячий, почему-то влажный, стол и принялся ждать официанта. Кто-то крикнул ему, что официанта здесь нет, потому как это кафе; тогда Карл выругался по матери и, недовольный, ворчливый, поплёлся к стойке делать заказ.

Ему больше не хотелось солёных и вредных закусок. Ему хотелось мороженого.

– Мороженое закончилось, – растянулись в улыбке губы мальчонки за стойкой. Он был одет в красный костюм и красную кепку.

«Не тот ли это щенок, что разъезжал на велике по бульвару?» – задумался Карл.

И он тут же понял, что это не тот, потому что тому было десять лет, а этому явно не меньше одиннадцати.

– Ладно, тогда колу, – смирился, насупившись, Карл.

Он взял свою колу и принялся её без трубочки пить…

«Почему без трубочки? – недоумевал Антон Николаевич. – Где трубочка? Должна же быть трубочка. Ах, всё равно».

Вдруг Карл увидел девочку. А девочка с мальчиком. Они о чём-то смеялись и лизали мороженое.

– Смотри, дети, – сказал самому себе Карл.

Он пошёл и отобрал у детей мороженое.

– Целых две порции, – улыбнулся удовлетворённо Карл и начал лизать. Дети перестали смеяться.

Не успел Карл долизать своё честно сворованное мороженое, как подошёл к нему какой-то бугай.

– Вы обидели моих отпрысков, – это был лысый мужчина в усах.

– Да, – согласился Карл.

– Сейчас я буду вас бить, – бугай закатил рукава. Он был одет в пляжную голубую рубашку, рукава на ней были короткие, но бугай их всё равно закатил.

– Постойте, – выставил Карл угрожающую ладонь. – Зачем же нам драться? Давайте лучше сыграем в шахматы. Я чёрными.

Карл моргнул на бежевую с разноцветными кружочками сумку, из которой торчали пачка печенья и шахматная доска. Сумка висела у бугая на плече.

Усы на лице бугая растаяли в улыбке, он развёл удивлённо руками и уселся на край жаркого, вспотевшего стола. Стол качнулся, но не грохнулся. Бугай перестал сидеть на столе.

– Как? Вы играете в шахматы? – заворковал он глубоким, озорным басом. Карл кивнул. Бугай прогнал своих детей прочь и вынул из сумки шахматы.

Они играли до самого вечера. Аж когда солнце жечь перестало, а печенье бугая прожевалось до самой последней крошки, игра кончилась.

– Вам опять мат, – гордо засвидетельствовал Карл и поднялся с деревянного стула.

Бугай схватился за голову.

– Боже мой! Двадцать шесть матов! – причитал он едва не в слезах.

Карл смерил его презрительным, насмешливым взглядом и обронил невзначай:

– Мне в грядущем году двадцать шесть лет исполняется.

Бугай зыркнул туго, с недоумением.

– Не смотрите на меня так. Я не по-французски тут изъясняюсь, – Карл поправил свою несуществующую чёлку и вызывающе хмыкнул. – Вы – слабак.
И дети у вас – слабаки. В шахматы я вас обыграл, а мороженое моё растаяло. Теперь это ваше мороженое. Подарите его вашим детям. За печенье спасибо.

Карл выставил повелительно указательный палец – по столу растеклись, капая на прохладный песок, сиреневые глотки уже не мороженого.

– Мне пора. Дело ждёт, – Карл похлопал бугая по спине и зашагал прочь.

Бугай шесть секунд смотрел на капающую со стола жижу, затем понюхал её и скривился пренебрежительно.

«Нет, это я есть не буду, – подумал он. – И детям есть не позволю».

Бугай осознал, что шахматный партнёр его удалился, всплеснул в тревоге руками и крикнул ему вслед:

– Вы позволите мне когда-нибудь взять у вас пару реваншей?

Карл остановился на мгновение, повернул коротко шею и гаркнул в ответ твёрдо, безжалостно:

– Нет!

«Всё, пора кончать этот бред. У меня уже спина затекла», – Антон Николаевич зевнул, хрустнул пальцами и принялся заканчивать свой рассказ.

Карл стоял перед высоким, кирпичным забором. В темноте он казался айс-
бергом или горой. Карл заметил, что над его головой растёт светлый фонарь и этот фонарь хорошо светит своим светом на кирпичный забор. И Карл понял, что забор не похож ни на айсберг, ни на гору.

Забор перелезать не понадобилось. Калитка, бордовая, не облупленная, но и не новая, оказалась открытой. Карл скрипнул этой калиткой и попал в жуткий двор. Во дворе пахло цветами, но цветов не было. Должно быть, они когда-то давно здесь росли. Карл прошёл по двору и увидел крыльцо. На крыльце мяукнула чёрно-белая кошка. Но кошки, как и цветов, не было.

Карл поднялся на крыльцо, постучал в незапертую дверь, затем вошёл в дом. Нет, он не стучал в дверь; он вошёл без стука.

В доме послышалось счастье. Смех красивой, молодой женщины. Топот тонких мальчишеских ног. И кто-то шепчет: «Я люблю тебя, Лара…»

Но ничего этого не было. Карлу ничего не послышалось. В этом доме не было счастья, не было ни красивой молодой женщины, ни её смеха. И топота тонких мальчишеских ног – не было.

Нет, кое-что Карл всё же услышал. Кто-то шепчет: «Я люблю тебя, Лара…»

Этот «кто-то» существовал.

Карл прошёл в комнату, куда поманил его густой жёлтый свет. Это горел торшер. Под торшером поблёскивала облезлая, подрагивающая голова. Голова всхлипывала. Карл увидел, что у головы есть рука – в ней был зажат карандаш; карандаш был тёмно-серый, угрюмый, он что-то писал, водил по бумаге.

Карл почувствовал, что у него в руке нож. Он подошёл к облезлой, подрагивающей голове и…

«Нет, зачем нож? Не надо ножа, – передумал Антон Николаевич и зачеркнул три последние строчки. – Карл боится ножей. Да и потом… ножом было бы чересчур больно».

Карл почувствовал, что у него в руке пистолет. Он подошёл к облезлой, подрагивающей голове и нажал на спуск…